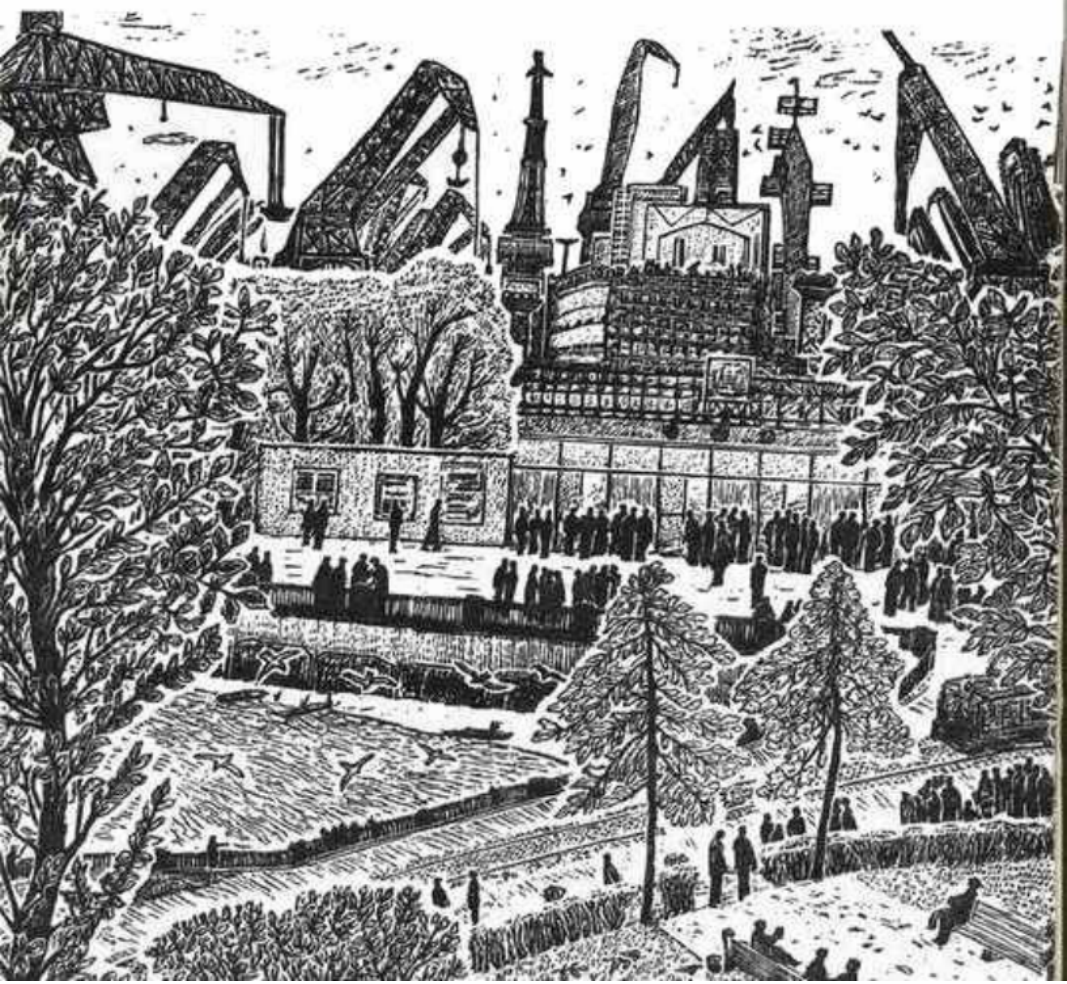
аврора 3/76



SHOUT
SHARE
IT

- Борис Сергуненков

Борис Сергуненков
ОБЫКНОВЕННЫЙ ВЕТЕР

Шел лесом, был дождь… Я поднял руки к дождю ладонями вверх и подумал, что руки связаны с небом, далеким и близким, они чувствуют небо. Было приятно гладить лицо. Оглаживал лицо, будто мир ощупывал.

Обычно я хожу по лесу быстро. Такую привычку выработал давно, а тут шел медленно — торопиться было некуда, смотрел на сосны, на травы, на брусничник и думал: как быстро я иду! А ходить бы так по лесу, чтобы у каждого дерева стоять сто, двести лет, и все равно этого мало, чтобы разглядеть каждую веточку, каждую хвоинку, каждую трещину в коре ствола, чтобы проследить жизнь дерева от рождения до смерти. Но ведь и этого будет недостаточно — ты увидишь смерть этого дерева, а захочется посмотреть, как вместо него появится новое дерево, как оно будет расти, какие будет встречать утренние и вечерние зори. Любой самый медленный шаг слишком скор. И не лучше ли идти быстро и попусту не страдать от того, что торопишься и все пробегает мимо: и деревья, и жизнь, и кусты.

Сильный ветер — и хорошо виден дальний берег залива, как будто приблизился он. Это, наверное, оттого, что ветер силой своей быстрее доносит до берега твой взгляд (если говорить о береге, расположенном по ветру).

Пушок одуванчика прилетел и устроился на моей руке. Я ему говорю: «Ну что, дружок, на моей руке не вырастешь, лети дальше!»

И сдунул. А может, не следовало его сдувать. Может, потому и не вырастают на руках людей одуванчики, что их сдувают раньше времени. А подождали бы до следующей весны, не сбрасывали — глядишь и укрепился бы он на ладони, и поднялся вверх, и зацвел бы желтым пятнышкам, и дал бы потомство, и ходил бы ты с цветком одуванчика на руке, единственный в своем роде человек — не потому единственный, что необыкновенный какой-то, наделенный какими-то красотами и добродетелями, недоступными иным смертным, а единственный потому, что не сбросил пушинку одуванчика с руки и терпел ее до весны.

Ей-то, пушинке, лучше знать, куда прицепляться.

Люблю шум сосен. Шума нет — и лес тихий, пустой. Конечно, это только для чужака лес бывает пустой и тихий — стоит прислушаться, и сразу различишь и шум, и чье-то присутствие. Там пробежала к болоту лесная мышь, там комар пропищал над

зацветшей лужей, там дождевой червяк зашелестел прошлогодней листвой, там ворона пролетела и оставила нам в воздухе свой незримый след. Если чуть принапрячься, можно услышать, как храпит под кустом можжевельника заяц, как быстро дышит белочка, набегавшись по веткам, как угрюмо ворчит в своей норе барсук, переваливаясь с боку на бок, но для этого, повторяю, нужно поднапрячься слухом; любой звук — писк ли это зверя или шепот травы — можно услышать в лесу и убедиться, что лес не пустой. Но когда приходит ветер а начинает шуметь в соснах, рождается радостное и светлое чувство. Казалось бы, ничего особенного не случилось — обыкновенный ветер, и не к тебе явился, а просто так, по своей воле погулять над лесом, порыскать в сосновых ветках пришел, и нет ему до тебя никакого дела, — а радует тебя его появление, как будто ты друга встречаешь и уже не один. И чем сильнее шум, тем радостнее. Особенно в ясный солнечный день. Тогда сосновый бор, по которому ты идешь, кажется пустым и полным. Но чем полным? Сказать — полный шумом, значит ничего не сказать. Лес со своим непонятным, неведомым — исчезает. Есть ты и шум, вас на свете двое, иного ничего нет. И шум этот — как человек, с которым ты можешь общаться.

Со странной мыслью смотрел на деревья. Каждое дерево желает твоего присутствия, общения с тобой. И эта береза, и эта, и эта. И ты бы весь день только и занимался тем, что ходил и общался с ними. Но со всеми березами пообщаться невозможно — раз. И потом — они спокойно обходятся без тебя, во всяком случае не умирают. Наукой не зарегистрировано пока еще ни одного случая, чтобы дерево погибло от разлуки с человеком. Собаки умирают, люди умирают. Почему же тогда кажется, что деревья жаждут твоего присутствия? Но посмотри на небо. И оно хочет быть с тобой. И день, и ночь. И травы, и все что ни есть на свете. И обходятся без тебя потому, что ты везде, ты с ними или они с тобой.

Иду по тропе в двадцать втором квартале. Во время войны тут был передний край, шла бои. Окопов нарыли, блиндажей — они по сей день остались и еще долго, наверное, будут заметны. Тут можно найти простреленную ржавую каску, осколок мины или снаряда, старую винтовочную гильзу, кусок колючей проволоки. Это то, что на земле, наверху, а что лежит под землей — какие мины, чьи кости — никто не знает. Когда мне пришлось рубить здесь просеку и я разжег костер, чтобы сжечь сучья, мины начали рваться с такой силой, что я едва унес ноги. Несколько раз в году появляются в старых траншеях мальчишки — ищут гильзы, роются в земле, в опавшей хвое. Есть у меня свободное время ими

заняться — я гоню их и стращаю смертными карами, чтобы они не рылись в земле, а нет времени — я пробегаю мимо них, и на сердце у меня неспокойно — я думаю, не случилось бы с ними беды. Встретил однажды старика — приехал он из-под Харькова навестить места прошлых боев, как он сказал — «встретиться со своей боевой юностью». Лес с тех пор сильно изменился, и я повел его по лесу, а он узнавал места боев — и не узнавал.

Сейчас я иду и вижу: стоит прислоненная к сосне боевая винтовка. Я взял винтовку: ремень истлел, дерево — цевье и приклад — источилось от дождя и времени, затвор слегка поржавел, но работает исправно. Я подержал винтовку в руках, а потом положил обратно и двинулся дальше. Чужого я никогда не возьму. Отошел метров сто и думаю: зачем винтовку оставил? Кто ей хозяин? Где теперь он? Не в сырой ли земле лежит? Винтовка теперь никому не нужна. А наткнутся на нее мальчишки — беды не миновать. Вернулся, забрал винтовку, вскинул на плечо и зашагал, как солдат, по дороге.

Повстречалась компания, парень и две девушки, я им говорю: вот, винтовку в лесу нашел. Они: ах! ах! Повстречался шофер у машины, я ему о винтовке. Он: ну, ну! Повстречалась ворона на сосне. Я ей о винтовке. Она: кар-кар! И подальше от меня. Повстречал цветок ромашки у дороги. Я ему о винтовке говорю. Он чуть клонится на ветру, молчит и смотрит на меня своим желтым глазом. Ничего он мне не сказал.

Я довольно легко предсказываю погоду, хотя места наши капризны и неустойчивы до чрезвычайности. Я гляжу на закат, на ранние звезды, на темнеющее небо, и этого мне достаточно, чтобы знать, что завтра будет дождь или вёдро. Но вот какую странную, деликатную штуку я обнаружил. Знать-то знаешь, а говоришь невпопад. Глядя на закат, знаешь, что будет дождь, а говоришь — вёдро. В чем дело? Мне кажется, в том, что в природе есть мысля, которые не боятся высказываний вслух, а есть — которые боятся. Оставил ты свою мысль про себя, и она проявилась верно: будет дождь. Высказал, и она уже ложна: будет вёдро. Иную мысль не только другому высказать нельзя, чтобы не спугнуть, но и себе показывать небезопасно. Как молодой гриб, боится она взгляда. Глянул и умертвил. И вот как получается: глянул на закат, и вроде знаешь, что будет дождь, но и не знаешь, ибо не сознаешься даже себе, что знаешь. Сознаешься — уже пропала точность. Но но сознаешься — ничего не узнаешь.

Как быть землей, как научиться отдавать себя солнцу подобно траве, принимать в себя семя и рождать плоды? Это умеет каждый, но тяжело, трудно, а отдаваться с легкостью не умеют. Легкость получается не от легкости, а от труда. Как быть собой и

как жить собой? Жить собой — это собирать с себя урожай, как собирают его крестьяне с земли.

Я хотел бы не потерять ни одного колоска. Дать земле праздник, отдых полноценной работой, ибо от безделья земля тощает и скудеет больше, чем от труда. Породить лесные угодья, не превратиться в болото я прочее. Ты лес, поле, и ты же собираешь с себя урожай. Это только на первый взгляд кажется, что ты собираешь урожай с леса, с поля. Ты его с себя собираешь, а лес и поле тут ни при чем. Собрал с себя много — собрал вообще много. Собрал мало — собрал вообще мало. А бывает и так, что собираешь, а ничего не собрал. Но что это за поучения? Или я учитель, а сидят передо мной ученики и внимают моим разглагольствованиям? Никакой я не учитель, и нет у меня учеников. Пусто вокруг, и знания мои не интересны. Да и не хочу я быть учителем и иметь перед собой учеников. Я сам себе ученик и учитель, как говорил один человек: «Вошел в лес, я — ученик, вышел — учитель».

Чему я научился, живя в лесу, и что, как мне кажется, пошло мне на пользу, так это ждать. Поскольку я был связан с лесом, не мог его бросить в нужную минуту, хоть иногда и бросал, мне приходилось ждать терпеливо и безнадежно, как ждут иные вдовы погибших мужей. Все мои отношения с миром строились на ожидании. Я ждал приезда на кордон любимой девушки, она ехала и не приезжала. Сидя на кордоне, я ждал гостей, они могли приехать, а могли не приехать — мало ли какие причины и капризы удерживают иногда гостей, даже самых долгожданных, от приезда! Я ждал визита директора лесхоза, который должен был засвидетельствовать мне свое почтение, слегка поругать за небрежение *я* нерадивость к работе и дать очередные ценные указания, без которых, по его мнению, я не мог существовать. Я ждал случайных прохожих, грибников, ягодниц, я ждал в ночи браконьеров. А еще надо учесть и принять к сведению, что, кроме всего прочего, я ждал утра, ясных дней, весны, первых ягод, прилета птиц и так далее, я вообще был великая ожидалка, и уж что-то, а ожидать я научился на совесть. Иной раз сейчас мне кажется, что будь содом и гоморра, смерть, ужас — и все дрогнет перед великим злом, я один не дрогну, не потому, что храбр и смел, а от привычки ждать: мол, не такое терпели, перебьемся.

Ожидание сослужило мне хорошую службу, и если что обогатило, так это оно. Порой мы так нетерпеливы! Ссылаясь на быстрый век, мы сами бежим, торопимся и попадаем в лучшем случае в никуда. Одно время мне казалось, я стал женщиной — я только и делал, что ждал. Я был как баба. Во мне была пустота, которая могла вобрать все живое. Все это хорошо, но я удивляюсь,

как я не умер. Я даже есть не стал, ожидая, что наемся без того, чтобы заботиться о еде самому и пихать ложку в рот. А кто бы в лесу сделал это вместо меня? Пень? Я заботился обо всех, обо мне — никто. Но так ли уж никто? Отчего же я тогда до сих пор еще жив и не умер? Может быть, святым духом питался? Как бы не так! Если я и остался жив, так потому, что заботился обо мне лес, пень тот же, травы, деревья, и кормили меня они и поили — невидимо, конечно, даже для меня, потому мне и кажется иногда, что не заботились они обо мне и не кормили. А иначе не жить мне на свете.

Удивляет меня человек. Только видимое славит и благодарит. А невидимое поносит и ругает. Так и я поносил травы и ругал их, что я забочусь о них, а они обо мне нет. А все это было неверно. От своего неведения, невежества я не замечал их заботу. Как же я должен был восславить их, когда понял, что ошибся!

Господи, как прекрасен этот мир, как он прекрасен, как сладок он, и все у него есть! Как великолепен он, этот славный мир, как он великолепен!

Распластаться бы перед ним в раболепном преклонении — разве не такое желание бывает у человека, одолевшего в душе сомнения, нашедшего мир и гармонию, видевшего этот мир не прекрасным и не великолепным, в чем-то недостаточным! Все есть, все. Есть смертельное желание пойти в лес и есть такое же желание не ходить. Есть способность видеть и есть способность к слепоте. Есть уши и есть глухота. Есть ум я безумие. Есть сила и слабость, и слабость и сила. Есть уродство, есть красота. Поистине все есть все и все есть во всем. В маленькой девочке есть старуха, а в старухе девочка. В свежей женщине есть затасканный мужчина, а в мужике баба. Иду, сидит молодой мужик, а из мужика старая баба выглядывает. Как ты сюда залезла? А никак. Я тут всегда была. А из старой бабы выглядывает дитя, а из дитяти куст шиповника, а из куста выпорхнула синичка и улетела…

Вчера шел по лесу и вспоминал об устойчивом своем чувстве торопиться жить, когда на кордон приходит лето. Объяснить его я не мог, я только знал его: едва начиналось лето, первые пригожие деньки, зеленела трава и начинали благоухать цветы, я садился на солнце на завалинку, и оживала у меня мысль, что все быстро промчится и потому надо торопиться взять лета побольше: и тепла, и летнего неба, и румяного солнца, и туманов, и прочего. Вчера я понял, почему ко мне, в общем-то неторопливому человеку, приходило чувство торопливости. Я думал, что оно приходит оттого, что я за зиму намерзался, а летом отогревался,

а это было не так. Не совсем так. Миг может быть и вечен, а жизнь любая скоротечна. И нет ничего скоротечнее жизни цветов. Едва расцвели — и уже завяли. Невольно я глядел на цветы, на их торопливую жизнь, и, уподобляясь им от долгого глядения, сам торопился. Мы всегда чему-то уподобляемся, подражаем, хотим ли этого или не хотим: отцу, матери, другу, гению, траве, речке, барану. Я уподоблялся цветку — чему я мог еще уподобиться, если цветов в лесу тьма, куда ни пойдешь, всюду они бросались в глаза? Я видел их быстрый рост, и их нетерпение передавалось мне. Вот и вся причина торопливости. Не солнце я ловил, сидя на завалинке, и не отогревался от зимы, как тогда думал: я жил жизнью цвета. Угасали цветы, уходило лето, торопливость моя исчезала до следующего лета, я опять никуда не спешил. И вот что иногда получалось. Поскольку я живо уподоблялся цветку, я и сам становился в чем-то похожим на цветок, в моем лице появлялось нечто от цветка, глядел ли Я на одуванчик или на незабудку. С первого взгляда, конечно, ничего нельзя было обнаружить, лицо как лицо, нос, глаза, губы, рот, как у всех людей. Но, приглядевшись внимательно, можно было увидеть, что это и не совсем обычное лицо, что нос, губы, конечно, есть, но, кроме них, есть и еще что-то, что явственно создает образ цветка. Я даже начинал издавать запах, как цветок. Вообще, живя в лесу, я жил жизнью леса, был как лес. Зимой лес спал, и я был какой-то сонный; весной пробуждался, кровь во мне загоралась, соки молодые бродили, как у земли, у леса, у березы. Летом я был деятелен, я зрел, шел в рост, как росли деревья, а осенью грустил, мне казалось, что я умирал. Я быстро подчинился временам года и сейчас так живу — и думаю, этот цикл для меня уже не изменится, я так и проживу до глубокой старости.

Я думаю, хотя и не утверждаю — я далек от утверждения подобных вещей: человек, в сущности, имеет то, что он имеет. Ничто не приходит извне. Природу нельзя обмануть, заплатить ей один рубль, а сказать — десять. Был у меня период, когда я так глубоко верил, что у меня не может быть ни одной порубки, ни одного сломанного или порубленного дерева, что их и вправду не было (даже если б они и были). Что действовало тогда на моих браконьеров — не знаю, но они избегали появляться в моих кварталах, они обегали их за десятки километров, и на протяжении долгого времени не было случая, чтобы кто-то даже по ошибке срубил дерево. Почему? Во-первых, потому, что я был твердо уверен, что этого не случится, а во-вторых, если и случится, все равно этого не может быть. Применяй нарушитель любые хитрости, вводи хоть весь свет в обман, ничего у него не получится. Так записано в книге судеб, и иному не бывать,

потому что ему не бывать. Как жалко, что в ту пору я охранял только свой участок леса, а думай я шире, возьми ответственность побольше — и моя вера могла бы сохранить весь мир, всю вселенную.

Когда же я со временем (был у меня и такой период) порастерял свою веру, со страхом и ужасом стал думать, что мне не миновать порубок, придут браконьеры, я не уберегу лес, браконьеры, как можно было догадаться, были тут как тут. Они словно прочитали мои мысли па расстоянии, да, наверное, так оно и было. И такая в ту пору у нас пошла с ними рубка, страшно до сих пор вспомнить. Куда девались мой сон, благодушие, мир и спокойствие? Я был весь в войне, в ловле, в погоне, я носился по лесу в поисках браконьеров, ловил их, караулил, зевал, опять находил, опять зевал, я умудрялся прозевать порубку у самого своего порога, у меня увезли собственные дрова, и я в ту зиму остался без тепла. Надежные мои границы расползлись и затрещали. Я возопил: погибнет весь лес! Тут натерпелся я страхов. Я стал труслив, ночью запирал дверь на щеколду, клал у изголовья топор — мне казалось, что меня убьют, а кордон подожгут. За каждым кустом мне мерещился враг, ствол ружья, капкан, ловушка. К счастью, эта пора миновала. А будь она дольше, н я бы не выдержал, повесился, сошел с ума — столько бед тогда на меня обрушилось.

Лес меняется: одно умирает, на смену ему приходит другое. Вчера тут стояли высокие сосны, сегодня голо, завтра зазеленеют саженцы. Придешь в такой лес и не узнаешь, сердце оборзется, как будто не в свой лес вступил, а в чужой. Но лес ведь не только в том, что растет и видимо, а и в том, что в земле, что невидимо. Идея его в этом. Земля держит и то, и другое, и третье. Видеть лес невидимый — вот привилегия лесника.

Я смотрю на лес, на землю, на солнце, на травы и прочее не как на противоположное мне: я, мол, я, а это не я, что-то другое, а как на продолжение мое, как я смотрю на свою руку, ногу. Просто есть я внутренний и есть я внешний. Руки, ноги — это продолжение моего внутреннего, а лес, небо, солнце чего продолжение: пальцев, глаз, мыслей, чувств? Все, что вне меня, все продолжение мое. Солнце есть продолжение моей мысли, небо — чувства к девушке…

Жить, как трава. Но разве трава живет, как мы? Мы не спешим, а трава спешит, трава так торопится, что по всему лесу треск раздается. Весной она торопится выйти к свету, летом расцвесть, осенью дать семя. По-моему, самое торопливое на свете создание — это трава. Поразительно, как при такой спешке она успевает жизнь прожить. Я знал человека, который так

торопился прожить юность, что и на детство его уже не хватило. Траве срока, отпущенного судьбой на старость, на юность, хватает. В короткий срок от весны до осени она успевает родиться и умереть. Иногда мне кажется: она потому так спешит, что знает — в следующем году родится опять и будет возникать вечно, пока держится в небе солнце и земля и мир находятся в равновесии, и именно оттого, что она так торопится, она вечна. А если посмотреть с другой стороны, по отношению к чему она торопится? По отношению к себе, ко мне — человеку, к дятлу? По отношению к миру, к звездам, к земле она совершает свой путь, ни на йоту не отклоняясь ни вперед ни назад, а следует строго по графику.

Что мешает мне сейчас быть свободным, счастливым, иметь веселое расположение духа? Я одет, обут, накормлен. У меня есть крыша над головой. Я не мучаю себя мыслями, что будет завтра, я знаю, что со мной будет, и это меня вполне устраивает, а если точней — я не знаю, но меня устроит все, что со мной будет. Я здоров. У меня есть работа, я я ее люблю. Так мне во всяком случае кажется, чтобы не быть голословным. Что же — я счастлив или нет? А если несчастлив, то почему? Почему, если я счастлив, я не имею веселого расположения духа? Почему мне постоянно нужно продираться к нему, воевать с собой и очень часто быть побежденным? И вообще, можно ли быть в этой борьбе только победителем? Почему нельзя жить, как трава? А как живет трава? Ты думаешь, она счастлива? А может, она, так же как ты, страдает? Наверняка страдает. Но она умирает, когда ей приходит срок, и рождается в срок, в ее жизни нет насилия. А разве ты не родился в срок и не умрешь? Трава-то страдает, но человек выше травы и может жить, не страдая. Это, конечно, плохо, что я не живу постоянно в веселом расположении духа, но я живу в нем иногда, оно ко мне приходит изредка, а это уже счастье. Я знаю его, я впускаю его к себе, точней — я нахожу его, тащу к себе, и нет для меня тогда ничего прекраснее этого счастья.

Мне стало на душе весело, когда я подумал, что каков я есть, таков я и прекрасен (я сейчас не говорю о том, прекрасен я или не прекрасен), что во мне все есть и нечего мне стыдиться. Важно только полностью назвать себя, открыться, а назвать себя — значит побороть себя, открыть тайну. Нельзя себя не любить или стесняться. Конечно, можно и нужно себя не любить и стесняться для очищения и прочего, но сначала нужно себя любить. Если ты себя любишь, ты способен любить и другого — это, казалось бы, противоречит общераспространенному мнению, но это так. Полюби ты себя, хотелось бы мне сказать, полюбишь и другого. Я

же себя не знаю. Кто я? Как мое имя? Человек. Но я не это имею в виду. Имя от глагола иметь. Что я имею? И что имеет каждый? В наше время понять, что каждый человек прекрасен, становится все труднее. А с другой стороны — легче. Миллионы самодовольных и самоуверенных людей бродят по миру, точно коровы по пастбищу. Но делая человека самодовольным, мы тем самым делаем его и мнительным, делая его как бы сильным, мы делаем его слабым. Если он любит себя, он любит только себя, а нам нужно, чтобы он любил и других. Нам нужна вера, а не суеверие, любовь, а не влюбленность.

Я думаю, трава потому успевает все сделать за одно лето — столь короткий срок, что она не спешит. Если бы она торопилась, она бы ничего не успела. Она, напротив, даже задерживается в росте и успевает. Так бы и мне не торопиться, а знать, что твой срок есть и он придет. Когда? Когда придет. Потому можно сказать: учись торопливости у травы, но не поспешая. Где видано, чтоб она куда бежала?

Что она не успевает? Кого ждет, кого догоняет? Солнце, весну, лето?

Утром проснулся от карканья вороны. «Сейчас, — говорю, — встану». А сам одеяло повыше натягиваю, с головой укрываюсь. Слышу, не успокаивается она, орет. Чтоб тебя! Встал, оделся, вышел на крыльцо — не умолкает. В чем дело? Чего шум подняла, точно пожар? А может, я в самом деле пожар? Поглядел по сторонам — никакого пожара. Ничто не горит, нигде не дымится. И во дворе все лежит на месте, и лес за ночь не изменился, не пропал, стоит, как был вчера. Разве что две белых ромашки на поле появились. Посидела ворона на толстом суку сосны и улетела. Я ей вслед: попусту, мол, орала. Не обращает на меня внимания. Скрылась за лесом. Вернулся в избу, сел у окна, задумался. Чего подняла меня с постели в такую рань? Если из-за двух ромашек на поле, то не такое это великое событие, чтобы кричать о нем на весь белый свет, — сам вижу.

Человек, по-видимому, никогда не удовлетворится лицезрением самой дивной красоты, если она не заключена в его сердце. Ты гляди на самые прекрасные деревья, броди по самым распрекрасным лесам, нюхай самые душистые цветы, лицезрей самые очаровательные зори, восхищайся самыми изумительными пейзажами — рекой, горой, опушкой, — если их нет в твоем сердце, они не тронут тебя. И если, шагая по лесу, ты встретил красавицу сосну, и залюбовался ею, я у тебя нет сил от нее отойти, ты стоишь день-два и готов простоять хоть всю жизнь, как перед самой недоступной красавицей, на коленях, значит, ты ее не просто встретил в лесу, а еще раньше имел в своем сердце. Вот

почему, встречая сосну, мы радуемся, мы смотрим на нее и не можем наглядеться — мы не сосну встречаем, нам до сосны нет никакого дела, мы встречаем самих себя. Вот почему и сосна, встречая нас, радуется — она находит себя в чаще нашей души. Сосна леса и сосна души находят друг друга, а мы этому радуемся.

Одни любят потому, что их любят, другие в противоположность, — чем больше их ненавидят, тем крепче их любовь, третьи любят и ненавидят одновременно. Как люблю я? Сейчас я думаю, что я стараюсь любить независимо от другой любви. Любят меня, ненавидят — я все равно люблю. Мне даже безразлично, есть ли кто или нет. Моя любовь ждет любви не от кого-то, а от меня самого. Так я люблю свой лес, а любит он меня пли ненавидит, меня это не касается.

Когда я иду по лесу и встречаю ягодников с бидончиками, полными черники, или грибников с корзинками, я всегда испытываю глухое чувство злобы и раздражения, которое мне не так просто унять. Меня злит, что эти люди приходят в лес, берут и ничего не дают взамен, как будто лес обязан отдавать им свои дары безвозмездно. Берите, говорю я, но платите. Куда там! В лучшем случае какой-нибудь грибник или ягодник не бросит окурок в лесу, не устроит пожара или не изроет поляну, точно свинья, в поисках гриба. Тысячи людей входят в лес, берут, и никто не благодарит. Сама мысль такая, выскажи ее, покажется кощунственной. Ждет ли лес благодарности? Безусловно, ждет. Он только тогда и давать будет, когда его будут благодарить. Иногда думаешь, что злишься не оттого, что лес не благодарят, а тебя не благодарят. Мол, ты охраняешь лес и требуешь за это благодарности. А ее нет. Но принеси мне кто дары, и я их с негодованием отвергну. Да еще по шее дам. С какой стати меня благодарить! Пока еще издает душистый запах сосна, а не я, не под моими ногами растут грибы, а под соснами, не я кормлю зверей и птиц, а лес.

Лес, может быть, и не ждет благодарности, а ты, человек, его поблагодари. Он не ждет не потому, что бесчувствен, или ему все равно, отблагодарят его или нет, или он убегает от благодарности, как какой-нибудь герои, вынесший младенца из огня. Лес не настолько юн, чтобы тщеславиться от гордости, но и не настолько дряхл, чтобы быть равнодушным. Он верит в людей, он не понимает, как это люди могут каждый раз уходить с бидончиком черники, или корзиной грибов, или охапкой цветов и не поблагодарить его. Он еще даст, в нем хватает этих даров я добра, но они не беспредельны.

Живу в лесу, меня окружает лес, и я сам становлюсь лесом. Я,

конечно, остаюсь человеком, но что-то ко мне приходит от леса — ритм движения, взгляд на жизнь, сила чувств. Я мыслю, как мыслит лес, я чувствую, как чувствуют травы, я гляжу на мир, на эту природу и умозаключаю, как глядит и умозаключает лес, с той единственной разницей, что делаю я это значительно хуже. Я гляжу на гнущуюся от ветра березу, и мне кажется, что и я так же гнусь, как и она, ели мог бы гнуться, стоило бы мне только захотеть. Почему я не гнусь или не хочу гнуться? Этого я не знаю. Почему некоторые люди не желают испытывать судьбу? Зачем мне гнуться березой? Я пока не береза, а человек. Но я бы мог гнуться — так родственно я ей созвучен, так я ее понимаю, так близко я принимаю и травы, и деревья, и все иное, что я бы мог стать и тем и иным, только захоти. Но зачем мне этого хотеть? Ради любопытства? Глупо. Пожертвовать собой? Но никто не требует моей жертвы.

В своем усердии жить жизнью леса мой организм иной раз доходит до смешного. Листья падают на деревьях, а с моей головы начинают падать волосы. Возьмешь утром расческу, проведешь по кудрям, а в зубьях расчески пук вылезших волос. В первое время, не зная причины подобного явления, я объяснял это отсутствием витаминов в организме, неправильным обменом веществ. И, здорово испугавшись, как бы мне в молодые годы не стать плешивым, не расстаться со своими бесценными кудрями, я брил голову наголо я стригся под ноль (мне казалось, что таким образом я сохраню свою шевелюру). Теперь я не делаю этого пе потому, что боюсь насмешек со стороны (а кто в наше время втайне не смеется над бритым или стриженым молодым человеком, если он не идет в армию), а потому, что знаю: подобная стрижка ничего не даст. Стригись ты, брейся, а пока будут с деревьев падать листья, до той поры с моей головы будут падать волосы, и никакая сила, никакие лосьоны и питательные кремы не помогут. Кончится листопад, прекратятся и выпадение волос. Весной пойдет в рост трава, почка, я такая буйная копна на моей голове вырастет, что никакие ножницы не возьмут. Вот и выходит, что в плане прогнозом, когда начинается веска, а кончается осень, я вполне спокоен. Мне не нужно ходить по лесу и выискивать признаки прихода весны или лета: где расцвел одуванчик, когда занялась зеленью молодая березка, где упал первый лист, хотя, сказать по правде, занятие это не такое уж и неприятное и силой меня гнать посмотреть на то, как распушилась молодая березка, не надо, я на свидание с ней добровольно пойду, — мне достаточно провести расческой по своим волосам, чтобы узнать, началась осень или она уже кончилась.

Пока молод, я спокоен. А что станет со мной, когда я постарею и кудри мои поредеют, а то и вообще облысею? Как я тогда смогу объяснить подобное явление (определять время года я и без волос смогу)? А никак. Скажу, что состарился. Или лес, как человек, не стареет, не умирает? Облысели — проживем без волос. Голова на плечах осталась, чего же плакать!

Я заметил: утром, проснувшись, я редко обращаю внимание на солнце, не здороваюсь, с ним, не приветствую, и если бы я вдруг его поприветствовал, то почувствовал бы себя неловко, застеснялся, как застеснялся бы, здороваясь и похлопывая по плечу незнакомого человека. Я просто не представляю себя таким бесцеремонным. А вот уходящее солнце я приветствую частенько. Я это делаю не потому, что, здороваясь, желаю уравнять себя с ним, — нет, такого панибратского отношения к светилу я бы не допустил. Я приветствую его по другой причине. Мне кажется, что, прощаясь с нами, с землей, с лесом, солнце грустит и переживает разлуку, мне его жалко, и я хочу его подбодрить. Обычно это происходит так: я яду по дороге или по тропинке на запад и вдруг поворачиваю обратно, на восток, и вечернее солнце остается у меня за плечами. Я оглядываюсь назад один раз, другой и прощально машу ему рукой.

Интересно, как чувствуют себя люди перед тем или иным деревом или кустом? Я, например, перед каждым деревом и кустом чувствую себя по-разному. Так, перед сосной, что стоит у дороги к болоту, я всегда улыбаюсь, — как бы мне ни было грустно, я все равно улыбнусь, мне тогда свет в душу вливается. Перед кустом бузины, что растет у крыльца, я останавливаюсь я молчу. Почему? Я и сам толком не знаю. Как будто это не куст бузины, а погибший друг, по которому я грущу. На меня деревья и кусты производят еще не очень сильное впечатление. Я знал людей, на которых они действовали сильнее. Один мой знакомый при встрече с горбатой елкой у реки рыдал. И было бы там на что смотреть. А то стоит уродина, две чахлые веточки, ни вида, ни формы. Уведут его от ели, он успокоится. Оставят, рыдает безутешно, как будто жену похоронил. Другой ругался и плевался на куст можжевельника. Увидят с дороги и аж трясется от злобы, точно это не куст можжевельника, а смертельный враг. Кажется, не будь он лесником, вырвал бы этот куст, чтобы глаза не видели. А что плохого сделал можжевельнике этому человеку? Есть в лесу деревья, перед которыми пляшут, а есть, перед которыми песни поют. Есть — у которых просят совета, а есть — у которых приходят искать защиты. Есть деревья, в которые смотрятся, как в зеркало: посмотрел и себя увидел, а есть, от которых требуют любви.

В день я хожу помногу, по двадцать, а то и по тридцать километров, я ходьба мне никогда не в тягость. Конечно, самая главная причина моей ходьбы — моя служба, моя обязанность: дождь ли, зной, ночь ли, утро, я обязан быть в лесу, в пути, и ноги мои в моем деле — моя опора. Ходьба для меня любимый вид занятия, как для иных кино или танцы. Когда я иду, я словно хорошую книгу читаю. Но легко ли я отношусь к своей ходьбе, всегда ли с удовольствием ее начинаю? Не буду хитрить, не всегда. Иногда и мне не хочется идти, я яду в лес как на казнь, но зее-таки иду. Как я это делаю? А очень просто. Я никогда не говорю себе: я пройду сегодня сто километров. Я говорю: я пройду десять шагов, два, один. И прохожу эти два метра. О пути в сто километров я не только не думаю, но и не хочу думать и твердо уверен, что не буду идти сто километров. Зачем, говорю я себе, мне тащиться в жару в такую даль, чего я там не видел? Кто за мной гонится? Не от смерти же я убегаю. Пусть другие бегают, у кого ноги быстрые. И все в этом духе.

Прошел я два шага я тут чувствую, что следующие два мне сделать гораздо легче, чем остановиться или повернуть обратно. После четырех шагов желание продолжать путь, а не повернуть назад, еще больше усиливается. С каждым шагом и метром желание идти вперед нарастает, тебе ничего не остается делать, как взять ноги в руки и шагать. Самое трудное теперь в середине пути остановиться. Это сделать для меня гораздо сложней, чем идти вперед. Ноги как будто сами идут, стоит только им разогнаться, приказывай не приказывай, а они все равно не слушаются. Бывали случаи, когда я, несмотря на все старания, не мог убедить их остановиться, шел вперед, не сворачивая, разумеется, в стороны, и только чудо спасало меня от голодной смерти и усталости. Тут наступает критический момент, когда необходимо проявить всю силу воли, всю красоту и стройность убеждений. Даже заманчивые мысли о кровати и горбушке хлеба, оставленных на кордоне, тебя не спасают. Как тут поступить? Брать хитростью. Не говорить в лоб: мол, возьму и пойду обратно. Так говорить значит ничего не сделать, ты хоть краном меня поворачивай — не повернешь. А, мол, пройду обратно немного и вернусь. Такое убеждение действует, хоть и не всегда. Иной раз и повернешь назад, а оглянешься — и сердце замрет: что же ты натворил! Должен признаться, что эту методу руководить собой я позаимствовал у одного знакомого. Готовя себя в дорогу и разогревая для дальних странствий, он, как солдат, шагал на месте часа полтора, а то и больше, пока не трогался в путь.

Говорят, себя любить легче, чем других. Ничего подобного. Заявляю вполне категорично, что себя любить гораздо труднее,

чем других, а если точнее — почти невозможно. Во всяком случае это так же трудно, как быть добрым. Любить других, делать добрые дела, помогать в трудностях, в беде, выхаживать больных, кормить голодных, поить жаждущих, поделиться в голод коркой хлеба — этому может в конце концов научиться каждый. Наука, не спорю, непростая, иному она и до смерти неясна и остается в тумане, как для меня курс высшей математики или теория относительности, но при желании, при большом желании, она вполне уяснима. Любить своего ребенка, жену, мать, отца, родственников, земляка, друга — это возможно и допустимо. Любить соседей, кота, попугая в клетке, ель, облако, небо, трамвай — это тоже возможно. Такая любовь прекрасна и исполнена высокого смысла и красоты и не требует особых напряжений. Даже если ты не захочешь любить, скажем, кота, а постараешься его ненавидеть, у тебя все равно ничего не получится. Такая способность любви, как говорят ученые, заложена у нас в генах. А вот себя полюбить — это проблема. Иной человек готов крокодила любить, а себя полюбить не может. Редких счастливцев я встречал, которые любили себя. Но что это были за люди? Ни одному смертному за ними не угнаться. Что же они были, грубияны какие, хамы, скупцы, тянущие все в свой рот? Ничего подобного, они так любили себя, что и малой оплошности себе не позволяли. Клали они ноги на стол? Чавкали за общим столом, ковыряли пальцем во рту, встревали без спроса в чужой разговор, писали доносы на ближних, орали на перекрестках: я — гений? Ничего подобного. Они были опрятны, вежливы, добры, они были скромны, предупредительны, так что я до сих вор удивляюсь, были ли они на самом деле или мне это только показалось, а если были, в чем я все-таки не сомневаюсь, то как их держала на себе земля?

Цветет и отцветает шиповник, в такие роскошные лепестки валяются после дождя на земле. Шиповник вот не жалеет, теряет лепестки свои бездумно, а будь такие лепестки у людей, они бы так легко не расстались с ними никогда. Носились бы с ними, жалели, посвящали бы им стихи, писали романсы, даже один упавший лепесток явился бы предметом сомнений в добре, в истине, крушением мира, надежд: вот, мол, прекрасное, ему бы жить я радоваться, а оно умирает, — сурова, жестока и несправедлива жизнь; какой-нибудь неудачник тут же стал бы жаловаться на несчастную судьбу, что его разлучают с красотой, с любовью, со свободой, мол, живет он в темнице, и мир — это юдоль печали и скорби, а посидев в уединения, глядишь, создал бы свою оригинальную концепцию угасания мира, и кто знает, не нашелся бы тогда какой-нибудь смельчак, борец, который бы

вздумал решить этот мучительный и трагичный вопрос и силы своего таланта положил бы на него?! А у шиповника после цветения наливаются и зреют плоды и семена.

Живешь в лесу иной раз и не видишь леса. Он есть, а его для тебя нет. И шорох листьев ты слышишь, и цветенье трав замечаешь, и пенью дрозда внимаешь, а все равно не видишь ты ничего и не слышишь. И даже — чем больше хочешь видеть и слышать, тем меньше видишь и слышишь, и уже ничего не видишь и не слышишь. И непонятно, где ты находишься, в лесу или не в лесу? Замечаешь свои душевные терзания, свои недовольства. Но поскольку не на себя смотришь, а лес хочешь видеть, то и себя не видишь и терзаешься какой-то неопределенностью.

А бывает, не видишь леса, а вот он, стоит. И о себе не думаешь, а видишь. И птицы лесные поют то ли на ветках, то ли у тебя в душе. И солнце совершает свой бег на небосклоне грудных ребер, и шум листвы — в рощах души.

Шел по асфальту, а потом по сырой лесной дороге, по хвое, по траве, по сосновым и еловым шишкам и вдруг такую нежность земли почувствовал, через подошвы сапог — аж задрожал. И подумал: люди обувь носят не для того, чтобы уберечь себя от сырости, непогоды, а от нестерпимых любовных токов земли.

Люблю солнечные дни. За долгую зиму, за осень так изголодаешься по солнцу — оно в наших местах не балует, — что выйдет солнышко и жизнь покажется прекрасной. Дрожишь за этот солнечный день, за солнце, как будто его в последний раз видишь, сядет оно и не появится больше, ну как перед кроватью тяжело больного, — и накатывает на тебя особое тяжелое настроение. Когда же пасмурно, происходит все наоборот: не за что болеть, переживать, ничто от тебя не уйдет, а уйдет — не жалко, и потому ты легок, спокоен, весел; сидишь — и сердце у тебя радостное, и ум работает с нагрузкой. Люблю пасмурные дни. Но тогда какие же дни я люблю — солнечные или пасмурные, если я без солнца жить не могу, а с солнцем мне жить тревожно?